



С. АДРИАНОВ

Критические наброски

Вячеславу Иванову принадлежит далеко не последнее место среди представителей современной русской литературы. Своими теоретическими статьями и стихотворными произведениями, а еще более, кажется, путем непосредственного личного общения он приобрел значительный авторитет в глазах многих наших поэтов, выступивших на литературное поприще за последние десять-двадцать лет, и имел несомненное влияние на формирование их эстетического мировоззрения и на направление их поэтической деятельности. Даже такой самостоятельный писатель, как Валерий Брюсов, чтит в Вячеславе Иванове, «поэта, мыслителя, друга», «жреца сурового и вечно юного тирсофора»¹ (посвящение к сборнику «Стефанос», 1906 г.). Ввиду этого, содержание проповеди г. Иванова весьма существенно для уразумения современного момента в развитии русской поэзии. К сожалению, овладеть этим содержанием не так легко, так как г. Иванов выражает свои идеи в форме чрезвычайно замысловатой. Его лексикон изобилует далеко не всегда вразумительными неологизмами, а обычные слова он постоянно употребляет в необычном смысле. Синтаксис его тяжеловесен и запутан. Мысль его на каждом шагу прячется за туманные, произвольные символы, почерпнутые то из собственных его стихотворений, то из античных легенд, или изобретаемых специально для данного случая. При этом г. Иванов и античную-то легенду часто наполняет чуждым ей содержанием, подсказанным либо толкованиями Ницше, либо собственными размышлениями. В результате получается на редкость искусственная и туманная манера выразиться, которая только утомляет читателя и не вы-

ясняет мысли автора, а завлакивает ее трудно проницаемым слоем вычурности.

Всеми этими неудобными качествами обладает и последний сборник статей г. Иванова: «По звездам». Он служит лучшим доказательством утверждения автора, что современный певец «отринул слово обще- и внешне-вразумительное»² и впал в «афасию»³. Напрасно только г. Иванов столь прискорбное положение свое и некоторых своих друзей связывает с именем Пушкина. Правда, страдающий афазией «тирсофор» признает, что «обильная, прямая, поэтическая речь, которою невольно заслушивались, свободно лилась из уст Пушкина». Но, по мнению г. Иванова, Пушкинский «Иамб» («Чернь») положил начало разрыву поэта с народом, «уединению художника», «тяготению искусства к эстетической обособленности, утончению, изысканности “сладких звуков”», а отсюда выросло не только неумение поэтов позднейших поколений говорить с народом, но и неспособность их вообще передавать словами свои мысли и настроения. Из этой поистине плачевной «трагики» современные поэты пробуют выбраться, выражаясь не «отринутыми обще- и внешне-вразумительными словами», а иератическими символами, смысл коих доступен только для посвященных. Но, справедливо неудовлетворенные таким суррогатом истинной поэзии, они ныне уже спускаются в интимную глубину своих душ и там начинают обретать более вразумительный и менее косноязычный способ выразиться, который в конце концов должен, по мнению г. Иванова, вывести нашу поэзию на путь «дифирамба», «мифотворчества», «большого, всенародного искусства». Таким образом выходит, что современные символисты разных наименований и фракций несут кару за прегрешение гениального праотца нашей поэзии и своим подвигом искупают прародительский грех. Большая часть статей в сборнике «По звездам» и посвящена обследованию психологической и метафизической сущности этого грехопадения, изысканию путей к его искуплению и мистико-пророческому обоснованию веры в эти пути.

Я менее всего склонен с легкомысленной издевкой и огульно отмечать те искренние усилия духа, те напряженные искания, которые, скажу прямо, вперемешку с большим количеством хлама, имеются в современной литературе, как художественной, так и посвященной теоретическим вопросам. В частности и в исканиях г. Иванова я чувствую много искренности, а иногда и глубину

запросов. Но его сознание, в большинстве случаев, бессильно овладеть теми проблемами, к разрешению коих он стремится. Смутные и раздробленные отсветы истины, мелькающие в душе г. Иванова, не дорастают до яркости и устойчивости, которые одни только дают возможность самостоятельной и отчетливой формулировки, — и тут, конечно, лежит настоящая причина «афасии» его и его друзей. Весь секрет заключается в досадном несоответствии между целями, которые ставит себе писатель, и силами, которые уделила ему природа.

В атмосфере другого течения писатель мог бы сознать трагикомизм таких покушений с негодными средствами, мог бы понять, что не всякому дано успешно посягать на все без исключения проблемы духа человеческого; он примирился бы с работой на той ниве и в тех межах, какие соответствуют его дарованию, и с верою и любовью ждал бы прихода других, более могучих пахарей, которые подняли бы манящую его, но недоступную для него новь. Но одна из характернейших черт наших модернистов заключается именно в том, что они считают себя отмеченными елеем особенного помазания. Они, по-видимому, искренне убеждены, что перед величайшими гениями и провидцами всех веков и народов не вставало таких вопросов, которые были бы необъятны для вождей российского модернизма, что индивидуальности, самые исключительные по своей одаренности, мощи и духовной сложности, не переживали таких психологических комплексов, которые не были бы в полной мере доступны внутреннему опыту средне-талантливого русского человека наших дней. Как люди даровитые и не лишённые чуткости, они понимают, что в русской жизни есть сейчас большое неблагополучие, природа которого еще неясна и источники лежат глубже, чем полагают ходячие идеологии. Они чувствуют, что у нас что-то застопорилось, что наступило тяжелое и крайне опасное оскудение, что наш национальный организм должен сделать какое-то героическое усилие, совершить подвиг, если не желает покориться крайне нерадостным перспективам. Но, рядом с этими основательными идеями, у модернистов есть совершенно неосновательное убеждение, что этот подвиг должны совершить или, по крайней мере, указать пути к нему и методы его совершения, именно они, и никто иной. Модернистам представляется, что они находятся в узле всероссийской, если только не всемирной, трагедии, что они обязаны учительствовать и пророчествовать, и что если они

откажутся от этой функции, то не исполнят своего предвечного назначения.

Возведя себя на такую высоту и приняв, по недоразумению, на свои рамена бремя столь неудобноносимое⁴, модернисты, естественно, склонны свои личные и кружковые затруднения возводить в ранг мировой трагедии, а своим туманным идеям приписывать весьма почтенную генеалогию, вплетая в нее всех гениев, как отечественных, так и иностранных, и даже небожителей христианской и дохристианских религий. Родоначальником и неизменным адептом этой манеры является г. Иванов, и весь сборник «По звездам» насыщен генеалогическими реминисценциями весьма сомнительной достоверности. Не имея возможности обследовать эту генеалогию на всем ее протяжении и по отношению ко всем мистико-метафизическим вопросам, которые включил в нее г. Иванов, я остановлюсь на одном пункте, весьма существенном и типичном для всей проповеди г. Иванова: это — упомянутый уже вопрос о том явлении, которое автор называет, вслед за славянофилами и некоторыми современными публицистами, «разрывом между художником нового времени и народом».

Этот разрыв «впервые», по мнению г. Иванова, нашел свое выражение в Пушкинском стихотворении «Чернь». «Явление новое и неслыханное, — ужасается автор, — потому что в борьбу вступили рапсод и толпа, протагонист дифирамба и хор — элементы немислимые в разделении». Останавливаясь пока на этой фразе и задаюсь вопросом: в каком смысле употребляет г. Иванов слова «впервые», «новое», «неслыханное»? Ведь не хочет же он, конечно, сказать, что рапсоды, хоры и протагонисты не только существовали до 1828 г., но и жили между собой в добром и ненарушимом согласии... Явно, что все эти реминисценции из эллинского мира попали сюда некстати и должны быть рассматриваемы как желание г. Иванова лишней раз подчеркнуть свою теорию о дифирамбической природе искусства. Оставляю в стороне эту путаницу и стараюсь добросовестно вылущить из нагромождения посторонних элементов настоящую мысль автора. Она, очевидно, сводится к тому, что до Пушкинского ямба между поэтом и толпой не было разрыва, по крайней мере ясно выраженного. Но ведь это же совершенная неправда. Всего пятью строками ниже г. Иванов приводит латинскую цитату, которая должна была бы напомнить ему известную оду Горация, начинающуюся словами: «Ненавижу непосвященную толпу»⁵. Это ли не разрыв поэта с толпой, ясно выраженный почти

за две тысячи лет до Пушкина и, как нам доподлинно известно, не оставшийся без влияния на ямб Пушкина? Мы знаем и другое влияние, подсказавшее нашему поэту круг идей, лежащих в основе этого стихотворения: влияние московского шеллингистского кружка, с Д. Веневитиновым во главе⁶. В сочинениях Веневитинова, умершего за год до написания «Черни», совершенно ясно выражено шеллингианско-романтическое воззрение на поэта, как на жреца, отрешенного от толпы и в тиши уединения внемлющего глаголам неба, чтобы потом принести их на землю. А сами немецкие романтики конца XVIII века — разве они не были воплощенным разрывом поэта с толпой, разве не входила насмешка над толпой, как интегральная часть, в их теории «божественной иронии»? Таким образом, Пушкинская «Чернь» была только одним из проявлений литературного течения, далеко уже не нового к 1828 г. и нашедшего для себя весьма определенное выражение и в немецкой, и в русской литературе. Мало того: и у самого Пушкина гневные попытки разрыва с толпой находятся уже задолго до «Черни». Напомню г. Иванову хотя бы стихотворение «Свободы сеятель пустынный»: народы уподобляются здесь стадам, которые «должно резать или стричь», наследье которых из рода в род — «ярмо с гремушками да бич»⁷.

Но примиримся и с этим типичным образчиком крайне вольного обращения с фактами — обычного греха вождей нашего модернизма. Возьмем вопрос по существу: подлинно ли гнев Пушкина против черни психологически родственен тому экзотическому уединению, хотя бы и «келейному», в котором пребывают современные модернисты?

Трудно себе представить психическую организацию, менее приспособленную к самозамкнутости, чем Пушкин.

<...>

С модернизмом дело обстоит иначе: тут как раз мы сталкиваемся с психиками, роковым образом обреченными на самозамкнутость. Тут в самом деле есть разрыв, и не только в способе выразиться, а по существу, и не только с народом, но и вообще с внешним миром, — разрыв, обусловленный убийственной для художника скудостью восприимчивой способности. Как будто ледяной корой обросли эти люди, и через нее проникают в их души лишь невнятные, неверные, беглые отсветы и отзвуки окружающего их мира. Ледяной корой окованы и сердца их, так что познание внутреннего мира чужой личности представляется им задачей

почти неразрешимой. Оттого так скуден их психологический багаж, оттого и построенные на таких обрывках обобщения далеки от общеобязательной, пророческой истинности. Обладая художественным талантом и оставаясь в пределах искренности, поэты этого склада могут, конечно, вскрыть и действительно вскрывают один уголок действительности — грустную повесть «обреченных» на самозамкнутость душ. Но когда они пробуют уверить нас, что весь мир и все мы построены по их образцу, что выше их прозрений ничего еще не бывало на свете, что их путь ведет к исчерпывающему синтезу, то мы никак не можем им поверить, ибо наш непосредственный душевный опыт и наше знание настоящего и бывшего убеждают нас в ином. А на их обещания синтеза отвечаем словами старого поэта:

Люби питомца вдохновенья
И гордый ум пред ним смирай,
Но в чистой жажде наслажденья
Не каждой арфе слух вверяй:
Не много истинных пророков...⁸

Вот истинная причина того, что поэты школы Вячеслава Иванова навсегда останутся не всенародными, а кружковыми, и их идеи никогда не приобретут «дифирамбического» значения. Мало того: и дальнейшее движение поэзии в той психологической плоскости, на которой сейчас держатся модернисты, ни в каком случае не выведет их из тупика: для этого надобно было бы, чтобы растаяла облегающая их ледяная кора — а я не знаю, дождется ли наш Силоам⁹ нового воплощения той силы, которая властна была возвращать зрение слепым, слух глухим и силу расслабленным. Да если бы и случилось такое чудо, то сущность его заключалась бы в том, что оно дало бы нашей поэзии силу подняться с теперешней плоскости на плоскость Пушкина и его действительных продолжателей.

<...>

Вечно творящие источники жизни как будто иссякли в этих душах, и они осуждены стоять в стороне от больших дорог, на которых совершаются судьбы народов. Люди этого типа могут поведать нам трагическую повесть о борениях и падениях одинокой души; они могут облечь ее в блестящую форму, которою любитель будет истинно наслаждаться; они могут дать, и уже дали, толчок развитию художественно-литературной техники — но они ниче-

го не прибавят к мировому и национальному значению русской литературы, как признанной учительницы жизни. Совсем иной душевный состав надо иметь для того, чтобы уловить заложенные в народе возможности и явиться выразителем и истолкователем их перед лицом народа. Для такой задачи у современных писателей модернистской школы душа — выражаясь словами Вячеслава Иванова — «невместительна, и сердце тесно»¹⁰. Они «отроднились» от жизни их окружающей. «Потому ли, — спрашивает г. Иванов, — что возомнили быть родоначальниками нового рода? Или просто потому, что вырождаются?» И по тому, и по другому: и выродились, и возомнили...

1909

